

В финале этой скромной заметки хочу обратить внимание читателей (тех, разумеется, кому еще только предстоит открывать замечательного СК) – есть у автора и другие книги¹.

Ольга БАЛЛА-ГЕРТМАН

ЗАДЕВАЯ ПЛАМЯ

Игорь Поглазов. Я ни о чём не жалею: Стихи. – Минск: Колорград, 2024. – 224 с.

В эту книгу, уже четвёртый посмертный сборник Игоря Поглазова (1966–1980), вошли в основном стихи и прозаические тексты последних четырёх месяцев жизни автора, по собственной воле не дожившего двух недель до четырнадцати лет. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

Есть стихи и более ранние: 1978 (автору, родившемуся в самом конце декабря, – одиннадцать лет), 1979.

Всё это, честно сказать, с великим трудом, если вообще, укладывается во внутреннем чувстве. В стихах этого мальчика – столько взрослого горького опыта, взрослого самосжигания, столько безудержного взрослого чувства и взрослого же его понимания, что непонятно, как возможно было успеть такое к неполным четырнадцати годам, какой скоростью внутреннего времени надо было обладать, где он вообще взял этот опыт и как смог вместить в себя такие громадные объёмы чувства и смысла. Детского – наивного, простодушно-доверчивого, мило-неуклюжего – ничего совсем, даже в одиннадцать лет, когда, казалось бы, ещё сплошное детство: ни в мировосприятии, ни в способах его выговаривания (разве что некоторые языковые неловкости вроде просторечного «нету» вместо «нет»); никакой ориентации и на стихи, адресованные его сверстникам-детям. Никаких скидок себе на тот самый возраст, ни на что вообще. Никаких игр – всё всерьёз, всё по максимальному счёту.

Не детская, не отроческая – куда скорее, юношеская сознательная, намеренная неосторожность, безоглядное, беззащитное движение навстречу крупному. Сразу – присвоенной на правах власть имеющего – взрослой речью, сразу – на свой страх и риск – во весь рост.

Я, постигающий науку мастерства,
Переживавший то, чего не сможет
Изобразить уж ни один художник...

Где, когда, каким образом он это переживал?

Удивительным образом, в этой тайне практически ничего не проясняет занимающая половину книги биография Игоря, написанная его матерью, Верой Поглазовой. Да, эта биография даёт подробное представление о том, каким был автор стихов: вначале умный восприимчивый мальчик – далёкий от всякого вундеркинства и уж тем более от всякой правильности, позже бесшабашный подросток – страстный, жизнелюбивый, категоричный, совершенно не собиравшийся укладываться во взрослые рамки, бунтарь, вечно конфликтовавший со школой и впутывавшийся в разные рискованные истории, однажды чуть не загремевший в колонию. Да, стремительно росший даже физически – выглядел в свой последний год лет на восемнадцать-девятнадцать (фотография на обложке книги это подтверждает), выдавал себя за абитуриента, уже окончившего школу и поступавшего, да не поступившего в Литинститут, ему легко верили. Но всё равно это ничего не объясняет. Внешнее оно и есть внешнее.

(Скорее всего, это прежде всего о том, что внешние обстоятельства человека и его внутренние события и масштабы совсем не так тесно связаны друг с другом, как привычно думать. У внутреннего какие-то иные источники. И не факт, что исчерпывающе постижимые.)

По большому счёту, уж если человек – поэт (а Игорь был поэт вне всякого сомнения; это не только род деятельности, он уж на втором шаге, а прежде всего тип личности), стихи его должны бы читаться без всяких скидок на возраст. В конце концов, должны же тексты говорить сами за себя, тем более что поэзия,

¹ Напр., «Критика-2», см.: <https://formasloff.ru/wp-content/uploads/2023/01/kostyrko-kritika-2.pdf>

как давно уже известно, отменяет и возраст, и иные социальные и, может быть, даже культурные координаты. Она их перерастает; она же им и предшествует.

Постараемся всмотреться, как он вообще видел мир, жизнь, себя – если сделать над собой усилие и отвлечься от возраста автора, о котором в связи с Игорем говорят все, писавшие о нём, без исключения, и от иных социальных координат, в которых прошла его стремительная жизнь.

Ну, некоторых социальных – скорее, культурных – координат не отменить (они, со всеми их особенностями, только работали на собственные его задачи): росший в столице Белоруссии в русскоязычной среде, в интеллигентной семье Игорь, с его исключительной восприимчивостью, на редкость хорошо усвоил русскую поэтическую традицию – ту её, по крайней мере, часть, что была ему к тому времени доступна. Он и Мандельштам – в семидесятых-то годах! – читал куда более внимательно, чем основное число его современников (да и наших-то нынешних, честно сказать...), и Пастернака – им обоим он, двенадцатилетний, посвящал стихи, полные полускрытых цитат, откровенно признавая своё у них ученичество. У него можно расслышать и Гумилёва, который при жизни Игоря у нас вообще не издавался: «Нам суждена дающая рука. / И тёплый хлеб, и пыльные дорожки», и Иннокентия Анненского («Над Россией решётки и тьма, / На России чугунные плиты»), и Цветаеву («Безусое пророчество. / разбитый клавишин. / Трагедия одиночества, / Я думал, что один»; «Было весело, было сказочно, / да на санях с горы, на салазочках. / И с налёту в сугроб – только снег кругом, / А в глазах темно, как в сугробе том»), которой он, кстати, тоже посвящал стихи – с прямыми цитатами: «Писал и я на аспидной доске, / Потупивши глаза. Прости за это». Он очень многих читал – и поэтов, и философов. Читал Данте – и писал о нём, даже – прямо ему: «Ты был первым! Твой Ад подымает дыбом волосы, выворачивает руки, втыкает толстые неуклюжие иглы марбургских сапожников под ногти! <...> Я – сын твой и ученик. Я первый

после тебя сломаю врата Рая¹ и выведу оттуда грешников. Невинно страждущих из Ада в Рай водворю. Только Ты можешь мне помочь». Это уже 1980-й – но Игорь беседничал с поэтом и думал о нём ещё раньше – вот июнь 1979-го, автору двенадцать с половиной:

Вы помните Данте?

Вы помните Данте?

Ко мне по ночам приходил он, суровый,
Совсем поседевший, читающий список
Чужих прегрешений.

Читал Гомера – и ссылался на него в стихах («В высоких нотах атараксии Гомера, / Что движет вами, о подводные теченья? / В распятыя Гебы и в созвездье Ноя, / О Лея, ты сведёшь с ума своим пробегом»). Читал Спинозу – и готовился написать пьесу о нём, писал к этой пьесе стихи. И вот ещё один парадокс: он совершенно не был тихим, запойно читавшим книжником, он – и это как раз показывают воспоминания его матери – страстно хотел полноты жизни, эмоциональной, телесной, любой, где только это было возможным, – может быть, предельности её. И, очень вероятно, поэзия была для него одной из форм этой предельности.

Неуверенно, косо и дрябло

Мои первые строчки легли.

Но жила в них, стонала и зябла

Обнажённая сила любви.

В самой глубине советских атеистических лет он (росший в русско-еврейской семье², скорее всего, никто его такому не учил – собственный выбор) напрямую говорил о Боге, о Христе, о Святом Писании, о Рождестве, о горе Фавор, о молитве, о церкви, о Страшном суде: «И листья ног Христовых целовать», «Святым Писанием писана / Всепонятая грусть. / Я в одинокой жалобе / В твои ворота бьюсь», «Как пред Богом чисты на поверку мы», «Это

¹ Скорее всего, Ада, – но так в тексте.

² Кстати, прямого потомка ребе Шнеура-Залмана бар-Баруха Шнеерсона из Ляд, Алтер Ребе, одного из основателей белорусского хасидизма. Фамилия Игоря была Шнеерсон, стихи он подписывал фамилией матери.

*вьётся огромным храмом, / Куполами, церквями
манящими», «Спаси меня от Страшного суда.
/ Пусть смеет пот дождя пути сюда. / Спаси
меня от Страшного суда».*

Но он притом ещё и богоборец:

Мне не простит Господь
Моих святых грехов.
Его я проклял плоть,
Его я пролил кровь.

Поэтическую традицию, прежде всего русскую (и укоренённые, растворённые в ней модели поведения, всего прежде опять же внутреннего), он не просто усвоил: он сделал её частью самого себя, прожил как собственную жизнь. В свете этого его реальный (знать бы ещё, что такое реальность) опыт минского школьника ну не то чтобы потерял значение, но оказался лишь небольшой частью его человеческого опыта в целом.

Что у него, значит, есть?

Прежде всего: чувство родства с миром, наблюдаемым и проживаемым здесь-и-сейчас, с ближайшими к нему областями этого мира. Родства горького, трудного, но совершенно неотменимого и необходимого поэту:

Я – разве что эта земля,
Что падит и не греет.
Но для меня этой горечи
Нету роднее.
<...>
Я – дом твой, лишённый
И сна, и уюта.
Но, кроме этого дома,
Мне нету приюта.

Почти постоянное, фоновое чувство стремительности и краткости жизни (в тринадцать лет – но тем не менее), оно здесь в первом же стихотворении:

Я исчезаю, склоняюсь
На землю глухую.
<...>
Я – оторопь света.
И самая малость
Жёлтой листвы, и печали,
И ночи осталась.

Этот мотив у него очень настойчив:

И разделять подспудную тревогу,
Что нам осталось очень мало жить.

И даже заглядывание в собственное посмертье:

Кто-то умер. Мне музыка слышится.
Под окном не меня ли несут?
Не моя ль голова колыхнется
По дороге на Страшный суд?

Неотступно-острое чувство глубокой связи искусства – любого искусства вообще, поэзии в частности – как *предельного действия*, как наиболее интенсивной – самосжигающей жизни – с гибелью:

Поэт седеет над своей поэмой,
Художник гибнет у своей картины,
Актёр убит неизгладимой верой.

И вот ещё что: с ранних лет – чувство времени, гула его: огромного, превосходящего и историческую, и уж тем более личную память, – именно чувство, ещё до понимания (да и как поймёшь такое огромное):

Ходят в гости друг к другу люди,
Ходят в гости друг к другу звери.
И на этом седом погосте
Много видано и потеряно.

Ходят в гости друг к другу люди,
как ходили ещё и до нас.
Это отзвук былого кочевья
Просыпается в нас подчас.

Автору одиннадцать.

Так что он начался не в тринадцать лет, как сказал в помещённом здесь же предисловии Давид Самойлов, а существенно раньше.

Обратим внимание на слово «потеряно», возникающее в первом же катрене этого, кажется, наиболее раннего из сохранившихся стихотворений Игоря. У него какое-то изначальное чувство устойчивой связи между любовью и печалью, любовью и горечью («О

тебе писать, / Что песни петь, / Длинные и грустные <...> В жесте твоём / Соль земля хранит, / Горькую и сладкую», – говорит двенадцатилетний влюблённый), между любовью и утратой, шире – между человеческими связями и привязанностями вообще и утратой: «Не знаю, почему мои друзья / По одному уходят от меня», «Мои друзья уходят понемногу. / Их лица исчезают вдалеке» (и вряд ли здесь одно только влияние Ахмадулиной с её «По улице моей который год / Звучат шаги – мои друзья уходят»: влияние надо ещё быть расположенным усвоить) – или неудачей, невстречей: «Прости меня, мой друг неузнанный, / Ведь ночь была, а у меня глаза слепы» – пишет двенадцатилетний автор. Любовь и утрата неразделимы, даже если это привязанность, например, к стране:

Люблю смотреть Россию из вагона
Сквозь перелесья дикой красоты,
Сквозь пальцы рук. О, сколько здесь родного,
О, сколько здесь потеряно любви.

Любовь – о которой он, как мы заметили, говорит по меньшей мере с двенадцати лет – у него вообще горькая, нежная, отчаянная – как будто не только в постоянном предчувствии потери, но уже и по ту сторону её:

И руки – о тонкие ветви –
На плечи ложились устало.
<...>
Я вижу её сновиденья,
Застывшие нежно и странно.

И даже совсем катастрофично:

Я распят над твоею кроватью.
Без пощады. Гвоздями. К доске.

Изначальное чувство трудности, катастрофичности, неисцелимой конфликтности жизни – и нерасторжимого родства всего этого с любовью, с красотой (да и с Россией):

Плача, уходя, оглядывался через плечо,
руки сжав...
– Что же надо, Господи, тебе ещё?
– Лишь мгновенье надо мне, напряжение жил.

– Я весь сжался, Господи, я дрожу от силы.
– Полюби великое, полюби Россию.
– Я люблю Россию, Господи, не надо.
– Полюби любовь свою, полюби отраду.
В ветре недолюбленном полюби движение,
В жизни непродуманной полюби брожение.
Радостью загадочной полюби красивое –
Полюби Россию, полюби Россию.

Автору двенадцать лет.

Удивительным образом, у него, как будто совсем только начинавшего жить, – горечь и даже усталость опытного человека:

Я все черты её познал,
И женственность – такая скука.
Я думал: это первый вал,
А это просто тёмный угол.

И белым станом вдалеке ложатся
Затерянного царства маяки.
Один лишь дым, один лишь дым остался
В четверостишии, надежде и любви.

Постоянно возобновляющаяся тяга прочь отсюда, всё равно куда – ну это как раз характерно юношеское, – к тому, чтобы уйти-и-не-вернуться, пастернаковская «страсть к разрывам»: «Я уйду с чемоданчиком / В злую пургу. / Я уйду. Уже больше сюда / Не приду», «Я закрываю двери, / Которых не открыл, / Мой поезд уезжает – / Мне по дороге с ним», «Ты бежишь из ничтожных пределов, / Покидая стодневный уют», «Тоска по перемене мест, / Ты овладела мной отныне», «Я сослан в снегопад. И не дано вам видеть, / как я скрываюсь в белой пелене», «Прощай. Поезд далеко. / Время нас не ждёт».

И дорогу пройдя в отчуждении,
Весь уже ты заброшенный дом,
тёмный угол стихотворенья
Освеща огромным лбом.

Чувство одиночества – тоже из очень устойчивых («Я сослан сам в себя, на дно колодца»), родственное, опять же, чувству собственной смертности – и спокойное (почти всегда), стоическое принятие и того и другого:

Я один.

Я знаю, что я сейчас умру.

(Надрыв в его интонациях в связи с этой темой появляется только в самый последний месяц:

Пажити мои, пажити.

Пожить бы ещё, пожить бы.)

Социального – ничего, чистая экзистенция. Советского – хотя кругом, казалось бы, только оно одно – ничего. Местной белорусской специфики – тоже никакой: напрямую к универсальному и общезначимому (к тому, что таковым видится: Россия, которую автор упоминает не раз, тогда как Белоруссию¹ – ни словом, видимо, относилась для него к универсальному и общезначимому). И никаких идеализаций – чего бы то ни было. Ясное, отважное, безутешное видение.

Елена Мордовина в своей статье о поэте² усматривает, вслед за мамой Игоря, корни его трагедии, «в <...> неволе, в неотрезованном, нереализованном “горении”, в традициях и устремлениях семьи, впитавшей дух революционного и военного времени», – уточняя, что «дело тут, думается, вовсе не в самих по себе чистых идеалах периода становления социализма, а скорее в том, что время воплощения этих идеалов прошло, а “горение” сжигало молодого талантливую парня изнутри – его душа жаждала подвига». О том же, по существу, писал и Андрей Юдич в 1992 году: «Нечем, казалось, было дышать. Нечего, казалось, было ждать. На любую нестандартную мысль устраивалась облава. Он не мог вписаться в это время <...> Игорь Поглазов расшибся о твою фальшь, страна. Он воспротивился, не

позволил втянуть себя в это тотальное лицемерие»³.

Однако во всём, написанном Игорем, что удалось прочесть, не заметно никаких признаков жажды подвига, стремления к воплощению идеалов (особенно социальных), к самопожертвованию ради них. Как конфликт с временем, как протест против него может быть истолкована разве что единственная строчка: та самая, анненская, – «*Над Россией решётки и тьма, / На России чугунные плиты*». Да, как умный и чуткий человек, он, видимо, многое понимал о нашем тогдашнем отечестве. Но волновали его основы человеческого существования.

А я как все, я баловень судьбы.

Я всё прочёл, как вы, до середины.

Но я ломился в суть и в сердцевину.

И дай Вам Бог до этого дойти,

– говорит двенадцатилетний автор, и дело здесь совсем не в мандельштамовском до середины прочитанном списке кораблей, отзвук которого здесь можно расслышать. А в сути и сердцевине.

В каком-то смысле тут дело не в словах – хотя Игорь чувствовал их и владел ими прекрасно (а, например, неточные рифмы – вроде «часы – суды», «красоты – любви», «скука – угол», «шторы – невесомы», – которые у него нередко встречаются, – это из числа того, что легко перерасти, он бы перерос быстро). И слова как таковые, и поэзия, понятая как совокупность способов с ними обращаться, – всего лишь один из символических языков (ладно, пусть множество языков – но всё-таки только языков), при помощи которых выговаривается нечто более глубокое. Может быть, докультурное. Вполне вероятно, доопытное. Игорь был из тех, кто, как сказал один из внимательно читанных и прочувствованных им поэтов, до опыта приобрели черты. Опыт такие черты только выявляет, проясняет, закрепляет, усиливает.

Он шёл за внутренней музыкой и внутренним пламенем.

¹ Не пишу «Беларусь» всего лишь потому, что это название стало обозначать независимую страну уже после жизни Игоря.

² Елена Мордовина. Имя звезды, не попавшей в ночную облаву: О поэте Игоре Поглазове (Шнеерсоне) (1966-1980) // <https://pechorin.net/articles/view/imia-zvezdy-nie-popavshiei-v-nochnuiu-oblavu-o-poete-ighorie-poghlazovie-shnieersonie-1966-1980>

³ <http://www.ipoglavov.com/critics1.shtml>

Обвяжи мне шею лебяжьими руками.
 Что же было с нами?
 Ты меня целуешь нежными губами.
 Что же стало с нами?
 Ты проходишь мимо, задевая пламя.
 Что же будет с нами?

Возможно, взрослое представление о детях вообще, о четырнадцатилетних подростках в частности очень сильно заужено. Возможно, человек – он вообще всегда во весь рост, просто, во-первых, общество вместе с культурой и предлагают, и навязывают ему определённые, неминуемо тесные и искажающие, модели самопонимания и самоосуществления (но не все, как видим, готовы и согласны принять такие модели в качестве собственных); во-вторых, не каждый умеет эту полноту человечности замечать даже в самом себе. Игорь умел – и модели поведения и самопонимания принимал очень избирательно. Прежде всего – на вырост.

Андрей ПЕРМЯКОВ

СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ РЕВОЛЮЦИЙ

Алексей Радов. Не себе. – М.: Б.С.Г-Пресс, 2023. – 328 с.

Попав в созданный автором мир, боле-е-менее к нему привыкнув, непременно хочешь остановиться, оглянуться. Когда мир в целом соответствует привычному, начинаешь поиск личных зацепочек. Дабы совпасть ритму прозы. Или, наоборот, ищешь несообразности, анахронизмы – если книжка с ходу не глянулась. Читая нечто в жанре «другое время, другая галактика», расслабляешься и получаешь удовольствие. Пока не надоест.

Но как быть, если мир вроде наш, однако перекрученный какой-то? Или чуть вывернутый. Вроде даны явные, тонкие приметы времени:

«– Да трезвый я.

– Я слышу. Кто из вас в поезде трезвый ездит.

– Сейчас совсем другие поезда. Даже бутылка пива экстрим».

Кто часто пользуется гостеприимством РЖД, знает: с алкоголем в поездах ведомство стало всерьёз бороться в 2011-м. Через год накал сражений достиг апогея. Дальше, кажется, полегчало. Хотя не везде – в Сибири по сей день проводники часто вызывают полицию. Протоколы, штрафы, высадки на малоприспособленных к жизни станциях. Канитель, словом.

Примерно тому же времени – первым годам второго десятилетия нашего века – соответствуют и другие приметы. Мобильные поголовно у всех, однако мессенджеры ещё не получили тотального распространения. Роуминг являет собой проблему. Общественные настроения тоже такие... докрымские. Многие честно верят в революцию и пытаются оную устроить. Как умеют:

«–Эй, революционеры, иди сюда!

Они стали идти быстрее, потом побежали».

А спустя несколько страниц один из бунтовщиков риторически удивляется: *«Как так – вчера убежать от полиции, а сегодня работать на эту самую власть».* Ну, как? Нормально. Бывало подобное лет тринадцать-пятнадцать назад сплошь и рядом.

Вроде со временем действия определились, и тут бум! *«Англичанин поправил, теперь в Англии король. И все ему подчиняются? – невинно спросила Лиза. Да, мы чтим корону, – последовал ответ».* То есть на дворе 2023 год из немного примороженной реальности? Тогда почему вдруг заново стали появляться вытрезвители, закрывшиеся в том же 2011-м? Может, вообще дело происходит в недалёком будущем, только немножко поехавшем?

Ну, бывает. Локализоваться во времени не удалось. Будем определяться в пространстве. Разумеется, в литературном. Сначала приходят в ум ассоциации ближайшие. Например, прозвучавший несколько лет назад роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Там мир наполовину или более состоял из тягучих псевдогаллюцинаций, вызванных болезнью и общим неустroением жизни. Перемешанные явь, бред, сон, уходящие в никуда